

98/8

История одной болезни



СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Мария Томич

Мария Томич

98_8. История одной болезни

«Автор»

2021

Томич М. И.

98_8. История одной болезни / М. И. Томич — «Автор», 2021

Это история девочки, которая пережив рак в 8 лет, заставляет себя забыть этот страшный опыт. Но через 20 лет приходит новый онкологический диагноз. Вторая болезнь вынуждает вернуться к детским переживаниям и внутренний ребенок, тот, лысый и замученный химиотерапией, "просыпается" и начинает говорить. Жизнь взрослой женщины меняется, потому что она идет на диалог со своим внутренним маленьким "я". Запрятанный внутри, страшный жизненный опыт, становится «двигателем» изменений личности - героиня связывает свою жизнь с такими же детьми - болеющими раком, чтобы помогать и вытаскивать их оттуда, куда проваливалась сама 20 лет назад. Содержит нецензурную брань.

© Томич М. И., 2021

© Автор, 2021

Содержание

Благодарности	6
0. Меня зовут Маша	7
1. Какашка	8
2. Юля	9
3. «Вы вся опухла»	12
4. Катетер	15
5. Я	18
6. Волосы	21
7. С детьми попрощалась?	22
8. Второй бокс	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Мария Томич

98_8. История одной болезни

посвящается моей маме

– Мама, у вашей дочери рак. Если срочно не начать химиотерапию, она умрет через два месяца.

Благодарности

Спасибо моей маме – я не знаю, хватило бы моих сил пережить то же самое, что и тебе.
Спасибо семье – папе, брату, бабушке Алле и дедушке Васе. Вы были рядом настолько, насколько это мог каждый из вас.

Спасибо Ничушкиной Инессе Викторовне и Батурину Николаю Юрьевичу. Ваш профессионализм победил мой диагноз.

Спасибо Дзгоевой Фатиме Хаджимуратовне. Страх меня убивал, и ваша помощь была невероятно важной.

Спасибо Пантелееву Игорю Владимировичу за идеальный шрам.

Спасибо Румянцеву Павлу Олеговичу. Я доверилась вам так, как не доверялась ни одному врачу в жизни.

Спасибо Ивановой Надежде Михайловне и Петриченко Анне Викторовне за то, что вспомнили и за то судьбоносное разрешение провести первый праздник.

Спасибо Панамаревой Елене Николаевне и Чистяковой Екатерине Викторовне за то, что стали друзьями!

Спасибо Белокрылову Ивану Александровичу и Фоменко Наталье за постоянную помощь, а так же всем сотрудникам НПЦ спец. мед. помощи им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, с которыми довелось общаться. Вы позволили быть рядом, помогаете в нашем деле, цените нас и в нас верите.

Спасибо всем детям и родителям из наших онкоотделений. Вы пустили меня так близко, что позволили стать частью вашей судьбы.

Спасибо Максиму Рыбникову. Ты стал тем удивительным случаем, который открыл мне дверь в этот мир.

Спасибо Ире Сидоровой, которая подготовила все документы для регистрации фонда. Ты даже не представляешь, насколько твоя помощь мне важна.

Спасибо моим друзьям – Ане Мамонтовой, Наташе Мосаловой, Саше Матрос, которые поддерживали и помогали в самое сложное время.

Спасибо Glam Go! и лично Саше Трубникову за доверие и невероятную помощь, без которой не было бы того, что получилось.

Спасибо моей команде:

Наташе Веновой за то, что, несмотря на свою беду, была рядом тогда, когда без тебя я бы не справилась. Насте Исаченко за то, что разделяешь ценности слабоумия и отваги. Ире Детинченко за то, что готова феячить по первому зову. Кате Ильченко за то, что принесла свой опыт именно к нам.

Спасибо каждому, кто помогает нашему фонду информационно, материально и мысленно. Спасибо волонтерам и ведущим.

Спасибо моим детям – без вас я была бы другой.

Спасибо моему мужу – ты самая большая награда. Я люблю тебя.

0. Меня зовут Маша

2018

Она лысая. Лысая и белая. Сидит на банкетке, терпеливо ожидая своей очереди. Лет двенадцать–тринадцать. На голове тоненькая шапочка, обтягивающая оголенный череп. На лице медицинская маска, что держит оборону от полчища микробов. Видны только ее глаза и диагноз. Диагноз девочки очевиден. Рак.

В висках начинает нестерпимо стучать.

Нас направили в эту больницу с дочерью для госпитализации в педиатрическое отделение. Причина – ерунда, но нужно было обследовать. О том, что здесь, в этой почти подмосковной глуши, есть отделение детской онкологии, я даже не знала.

Потеют ладони, вытереть... обо что бы вытереть...

Толпа детей, нервные родители, много звуков, жалобы, крики, возгласы, суета – приемное отделение готово вот-вот взорваться своими бетонными мышцами. Нечем дышать, негде сидеть. Здесь собрались маленькие пациенты с разными диагнозами – каждый из них скоро окажется в палате нужного ему отделения. Я слышу разговоры – одни родители сидят два часа, другие три. Все устали, все злятся, все ругаются и пристают к проходящим мимо медсестрам. В этой какофонии все сложнее сохранять спокойствие.

Кружится голова, неприятно пересыхает во рту.

Лысая девочка. Я не могу перестать на нее смотреть. Худая, маленькая. Ее тело, такое тонкое, будто вырисовано на листе бумаги остро наточенным карандашом. Мама с целой горой документов стоит рядом со мной. Очки. Длинные темные волосы. Слегка взлохмачена. Совершенно спокойная, сдержанная мама. Она не ругается, не требует. Она существует отдельно от всей этой рутинной суеты вокруг. Она в себе. В дочери.

Начинает тошнить.

Девочка играет в телефон. Девочка-подросток у которой рак, сидит перед моими глазами и играет в телефон. Моя дочь носится по этажу, за ней бегают муж, а мои мысли занимает только эта девочка. Голос. Внутри меня голос.

Подойди. Заговори. Ты не можешь просто так уйти. Пора.

Двадцать лет я не видела этих лысых и белых детей. Не хотела видеть. Пряталась от них. Пролистывала просьбы о помощи в сети, переключала каналы, куталась одеялом, лишь бы не.

Посмотри на нее. Маленькая, худенькая девочка. Ты должна помочь ей.

Эти дети выжигают что-то внутри, оставляя опаленную равнину, на которой уже ничего не вырастет. Нет, милая девочка с телефоном, когда я вижу тебя, мне хочется плакать. А я больше не могу. Выплакала все еще там, в 1998-ом.

Так вернись, заberi все то, что там оставила. Маша, пора.

– Здравствуйте, – улыбаясь, говорю я ее маме, пряча в карманы вспотевшие ладони, – вы давно в очереди? А меня Маша зовут.

1. Какашка

1997

Мы идем с мамой от метро по бульвару к дому. У меня все в семье называют эту дорогу «бульваром», а я не знаю почему. Мне всегда казалось, что слово «бульвар» смешное. Мама плачет.

Я в шапке. Я ее не люблю. Она называется «берет». Мама говорит, что мне идет, а мне не нравится – она постоянно сползает на глаза. Я иду в этой шапке, снова и снова задираю ее наверх. Из-под шапки торчат мокрые волосы, они прилипают к лицу. На улице тепло, но шапку снимать нельзя – бабуля всегда боится, что «продует». Я хочу ее снять, но мама и так плачет. Не буду ничего говорить. Потерплю.

Я сегодня не ходила в школу, потому что мы с мамой ездили к врачу. Я учусь во втором классе. В школе меня называют «Прутик», потому что я самая худая в классе. Это Саша Филимонова придумала, а Каринка подхватила. Им смешно, когда они кричат «Прууутииик!», а я не обижаюсь.

Мы с мамой постоянно ходим в какие-то поликлиники и больницы. Раньше никуда не ходили. А потом я съездила в Одессу в лагерь и после этого стали ходить.

В лагере было все ужасно. Я постоянно плакала и хотела к маме. А еще у меня там сильно болел живот. Медсестра говорила, что я съела что-то грязное. А я не ела грязное, но она мне не верила. Потом я вернулась домой и рассказала маме, что он сильно болел. Она сказала, что пройдет. А он не проходил. Болел и болел. Поэтому мы и стали ходить к врачам.

Оказалось, что когда болит живот, его смотрят на УЗИ. Это когда такой штукой водят и щекотно. УЗИ я не люблю, потому что его делать нужно тогда, когда очень сильно хочется писать. Каждый раз мама дает мне пить много-много воды, и мы сидим в очереди. Ждем. Я всегда пью, хочу писать, а мне говорят не писать и ждать еще. Как-то это все по-дурацки. Я всегда боюсь описаться. Особенно, когда врач сильно прижимает эту штуку к моему животу.

Я не понимаю, почему мама плачет. Она плачет тихо. Ей грустно. Идет быстро и плачет. Сегодня я тоже боялась описаться.

– Мам, ну скажи, что случилось?

– Ничего... Не переживай, – мне жалко маму, – Врач сказал, что там просто застряла какашка. Все будет хорошо, не бойся.

– Там – это где? – не поняла я. Мама молчит.

Я слышала – врач говорил, что у меня что-то с яичником. Не знаю, что такое «яичник», но это что-то в животе. Значит, какашка застряла в нем. Мама меня очень любит, я знаю, и, наверное, плачет, потому что переживает. Но чего плакать-то? Какашка – это же ерунда.

Мне завтра снова в школу. Мама плачет, а мне смешно думать, что к моему яичнику прилипла какашка. Карина тоже посмеется. Какашка! Это даже смешнее, чем «Прутик», вот точно!

* * *

*Мама испугалась, узнав, что у ее семилетней дочери образование в яичнике.
Но мама даже не догадывалась о том, что у ее дочери рак.*

2. Юля

1998

Я стою в длинном коридоре. Меня только что сюда привезли. Сегодня тринадцатое января. Вчера у меня был день рождения. Мне восемь. Мне подарили много подарков, а сейчас я в больнице. Это очень большая больница. Я сжимаю маленький пакет с вещами. У меня холодные руки.

В пакете вещи, которые мне собрала мама и тамагочи в форме собачки. Мне тут не нравится. Стены ужасные. Некрасивые. Я стою и смотрю вокруг. Двери в палаты. Врачи. Много врачей. Они все ходят, а некоторые бегают. Ужасный запах. Запах лекарств.

Я очень люблю анисовый сироп от кашля. И еще «Доктор Мом». Эти лекарства очень вкусные и пахнут как конфеты из набора, который дарит Дед Мороз. Я иногда даже вру маме, что заболела и начинаю специально кашлять, чтобы мне дали хотя бы ложечку этого сиропа.

А вот в этом коридоре пахнет плохими лекарствами. В коридоре воняет.

Я стою с пакетом в руках и жду.

Тамагочи пищит. Я достаю его из пакета и кормлю.

Мама не собрала мне сумку, а сунула в пакет что-то из важного – она так сказала. Она не успевала собрать мне вещи, но я не знаю почему. Зачем-то нужно было в эту больницу именно сегодня. Вот я и приехала.

Я стою в больничном коридоре с пакетом. Сейчас происходит что-то важное, а я как взрослая – сама. Одна. Я не люблю, когда думают, что я маленькая. Вот сейчас я не маленькая, мне это нравится. Но вот запах этот противный не нравится.

Меня заводят в первый бокс – такая маленькая палата. Показывают «койку». Какое ужасное слово. Такая маленькая комнатка, в ней две кровати. И еще две тумбочки. Я запикиваю свой пакет внутрь своей тумбочки – она моя, потому что рядом с моей кроватью. Я взрослая, я несу ответственность за свои вещи. Я все делаю правильно.

Я не очень понимаю, зачем я здесь. Недавно, в начале зимы, мне уже сделали операцию – вырезали кисту. Оказалось, что не было у меня никакой какашки. Мама придумала ее. Там вместо какашки была киста – это такая штука, которую надо вырезать. Мне вырезали. В той больнице было весело. В соседней палате лежали старшие девочки, к которым мне нравилось приходить. Они рассказывали то, что взрослые никогда мне не говорили. Одну из них звали Таня – она рассказала, что у нее узкое влагалище и каждый день она ходила на процедуры и там ей его растягивали. Тогда мне было семь. Тогда мне было страшно.

– Тань, а зачем? Писать ты можешь?

– Какая же ты маленькая! – смеялась Таня, – писают не из этой дырки. А эту надо растянуть, чтобы мужчины могли свою письку туда вставлять.

– Зачем?! – почему-то мне захотелось плакать. Это было ужасно. То, что говорила Таня.

Мы тогда сидели в очереди на осмотр и она мне все это рассказывала. Всякие такие вещи, которые знают взрослые, а дети нет. А я хотела быть взрослой и хотела все знать. Но мне это не нравилось. Я боялась, что надо мной будут смеяться. Слушала и улыбалась. Как же это противно, зачем все это делают?

Я стою около своей кровати в этом первом боксе, куда меня привели. Пакет в тумбочке. В руках тамагочи. На соседней кровати девочка – она взрослая, как Таня. Я хочу с ней дружить. Я взрослая! Я люблю дружить со старшими.

Мне нужно что-то сделать, чтобы она со мной стала говорить. Что-то интересное для нее. Но у меня есть только тамагочи. Я ложусь на кровать и начинаю играть. Он постоянно пищит – он хочет есть, спать, он покакал. Мне кажется, что если я покажу этой девочке, Юле, тамагочи, то ей будет интересно.

Юля не смотрит на тамагочи. Она подключена к капельнице. У меня тоже была капельница в той больнице.

Юля не хочет дружить.

Юля высокая и худая. У нее красивые волосы. До плеч. Она очень красивая. Наверное, поэтому она не хочет разговаривать – такие красивые не дружат со мной. Никогда не дружили. Таня была некрасивой и в очках. А Юля красивая. Я начинаю себя чувствовать маленькой. Мне обидно. Мне восемь, я уже взрослая! И я хочу дружить.

Я крепко сжимаю тамагочи. Очень хочется домой. К маме.

К Юле приходят родители. Они приносят еду, говорят с ней. Вдруг я понимаю, что Юлина мама лежит здесь вместе с ней. Она сходила в магазин и вернулась. А моя? Где моя мама?

Юлина мама мне улыбается. Угощает меня каким-то фруктом. Я не знаю, что это, но мне вкусно. Я говорю «спасибо». Я показываю ей, что я взрослая – воспитанная. И мне не страшно без мамы. Только почему Юля, такая большая, с мамой, а я без?..

– Маш, а когда тебя начинают химичить?

Химичить... Я не знаю, что ей сказать. Я не понимаю, что она спрашивает. Но только дети не понимают умных вопросов. А я очень хочу дружить с Юлей и должна быть взрослой.

Тамагочи пищит. Я его кормлю.

«Химичить»... Юля красивая и умная. А я не знаю этого слова.

Мне надоело в этой палате. Я хочу домой. Врачи ко мне не подходят, ничего со мной не делают. Я не понимаю, почему я здесь – мне же уже сделали операцию, вырезали кисту.

Тамагочи пищит. Я с ним играю.

Юлин папа уезжает, а Юлина мама меняет бутылку на ее капельнице. Одну снимает и ставит другую. Зачем ей так много? Они говорят так много незнакомых мне слов. Юля не хочет со мной дружить.

Я выхожу в коридор. Иду. Двери в палаты большие и стеклянные. Я смотрю в палаты. Мне страшно. Мне хочется плакать. Со всеми этими детьми что-то странное. Я хочу к маме. Я иду мимо палат и заглядываю в каждую. Нельзя плакать, я же взрослая. Я хочу домой, когда меня отсюда заберут?..

Все дети в палатах лысые. У них нет волос. У всех. У них на головах кожа, которая блестит. Волосы есть только у меня и Юли.

Я хочу домой.

Я возвращаюсь в бокс. Мне нужно узнать. Я пытаюсь дышать ровно. У меня не получается. Я же взрослая. Я сильная. Я хочу дружить с Юлей. Нельзя плакать.

– Юль, а почему все дети лысые, а ты нет? – я говорю это спокойно, чтобы она не подумала, что я испугалась.

– У нас... перерыв был между химиями..., – Юлина мама говорит каким-то странным голосом. Хриплым, – Волосы отрасли, а выпасть еще не успели.

Перерыв? Химии?

Я хочу к маме. Я ничего не понимаю. Я не знаю этих слов. Я не хочу знать эти слова.

Тамагочи пищит. Я убираю его какашки.

Наступает вечер, в палате темно. Нужно спать. Юля накрывается одеялом, а ее мама почему-то ложится на пол. Кладет такой матрасик и прямо на него. Почему здесь нет еще кроватей? Она ложится, но я вижу, что ее глаза открыты. Она смотрит на Юлину капельницу.

Я хочу к маме.

Тамагочи пищит. Я его кормлю.

Я отворачиваюсь к стене и начинаю тихо плакать. Я не могу больше терпеть. Я смотрю на стену, которая перед моими глазами. Мне нужно как-то успокоиться и я начинаю придумывать. Я представляю себе, что я у нас дома. Что я лежу в своей комнате, в своей кровати. Вокруг мои игрушки. Пахнет бабушкиными пирогами – их разогревают для папы, потому что он сейчас

вернется с работы. У меня плохо получается придумывать, потому что перед глазами все равно эта бежевая стена. Мне очень грустно. Я придумываю, что стена такая, потому что у нас дома ремонт. Да, у нас ремонт, поэтому все так ужасно выглядит. Я закрываю глаза. Надо заснуть, и наступит утро. Утром мама приедет и заберет меня. Она узнает, что здесь лысые дети и заберет. И от Юли заберет, которая не хочет дружить. У меня текут сопли. Я не хочу вставать и вытираю их одеялом. Я всхлипываю и крепко-крепко закрываю глаза. Папа говорил, что надо считать и быстро заснешь. Раз, два, три, четыре...

Тамагочи пищит.

– Да выруби ты его нахрен! Слушать уже невозможно! – Юля вскакивает и кричит.

Я хватаю своего питомца и крепко сжимаю его в ладони. Я должна его защитить. У меня больше ничего нет. Только он. Я хочу к маме. Я не хочу дружить с Юлей, она злая.

Тамагочи пищит.

Юля орет.

Я хватаю игрушку и выбегаю в коридор. Я рыдаю, у меня мокрое лицо. В коридоре никого нет. Вдруг из двери выбегает медсестра. Говорит мне, что пора спать. Я плачу и не могу перестать. Я вспоминаю свою бабулю:

– Дайте мне успокоительное, пожалуйста, мне заснуть надо, я не могу заснуть, – рыдаю я. Бабуля пила это успокоительное и говорила, что ей помогает. Значит и мне поможет.

Медсестра странно смотрит на меня. Она тоже злая. Говорит, что таких лекарств тут нет, и провожает меня в бокс. Юля уже спит. Юлина мама следит за ее капельницей.

Я заворачиваюсь в одеяло и сильно-сильно закручиваю в него тамагочи. Чтобы его никто не услышал, когда он опять запищит.

Бежевые стены. Я дома. У нас ремонт. У нас ремонт. У нас ремонт. Лишь бы заснуть. Утром мама заберет отсюда, точно заберет. Бабушкины пироги. Сейчас папа придет с работы. У нас ремонт...

* * *

У Юли был рецидив. Через полтора месяца был назначен день ее свадьбы. Через три недели она умерла. Ее хоронили в белом платье, которое она выбрала себе сама.

3. «Вы вся опухла»

2016

Моя вторая беременность протекала гораздо лучше первой. Если мой сын рвался наружу с двадцатой недели так, что врачи всеми медицинскими (и не очень) способами пытались уговорить его остаться, то дочь была пайнкой – никуда не торопилась и давала мне возможность спокойно заниматься делами. Я была таким же пузырем, но оставалась дома – госпитализации не требовалось.

Однако, вместе с животом росло и беспокойство – если сына я родила в двадцать один год на приливах возбуждения от прелести быть молодой мамой, то роды в двадцать шесть ощутимо требовали осознанности, до которой мне было далеко. К тому же, мой сын, не помнящий своего биологического отца, никак не мог принять моего мужа – казалось, только что созданный брак развалится как карточный домик из-за одного «не хочу» ребенка с расстройством аутистического спектра. РАС Марку поставили еще в неполные три года и нескончаемый путь к его «очеловечиванию» был очень непрост. А тут смена условий – квартиры, окружения, влияния. Его нервная система не выдерживала, и ежедневно ломало мою.

«У тебя шишка на шее, ты видела?» – спросил муж. Я редко когда рассматриваю себя в зеркало, почти не крашусь, и, тем более, не ищу на себе никаких шишек. Нет, шишку я не видела.

Не придумывай, ее видно – посмотри на себя!

Встала к зеркалу. Покрутила головой. Рассмотрела. Ее становится видно только с повернутой вбок головой. Ерунда.

* * *

Очередной прием в женской консультации. Нафталиновые прически персонала, нафталиновые медкарты, нафталиновые разговоры и даже воздух – советский союз эти стены категорически отказывался покидать.

– Посмотрите, пожалуйста, у меня вот тут шея как-то странно опухла, – я прокрутила голову несколько раз во все стороны для пушей видимости.

– Девушка, да вы вся опухла! Что вас удивляет! У вас перебор веса – есть надо меньше.

А может быть, все же, она посмотрит? Может быть, все же, благодаря ей диагноз будет поставлен раньше, чем рак сожрет половину твоей шеи? Спроси, может быть, она побудет нормальным врачом и отправит на дообследование?

– Вы уверены? А может...

– Не придумывайте лишнего, – буркнула врач, – вам вообще нервничать нельзя! О ребенке подумайте. И мочу сдавать не забывайте, вот вам талончик.

Не выходи, Маша! Останься! Надави, уговори. У тебя на шее огромная шишка! Стой! Почувствуй опасность, дура! Остановись!

– Спасибо, всего хорошего, – сказала я и вышла в коридор.

Гриша всегда придумывает повод для паники, нет у меня ничего.

Facebook¹ 13 августа 2018

Адаму было четырнадцать.

Это тот возраст, когда прет мужское. Когда мальчики перестают дергать девочек за косички и хотят дергать за что-то другое. Когда гормоны бушуют,

¹ Признан в России экстремистской организацией и запрещена.

когда весь мир, кажется, так легко подстроить под себя, когда вершины кажутся так легко постижимыми и риски становятся главными стимулами – потому что вода по колено.

У Адама было колено только одно, потому что другую ногу отрезали. Все течение жизни забушевало опасностями и болью. Жизнь заменилась словом «боль».

В онкологии Адам лежал с отцом, его звали Иса. Статный чеченский мужчина с выразительными глазами. Глазами, полными уверенности, стойкости, силы. Глазами, с которыми русские мамы старались не встречаться – война только закончилась и в этих глазах они видели смерть своих братьев.

Иса приехал в Москву лечить сына от самой сложной формы рака кости. Исе было плевать на ту войну, потому что у него была своя. Жестче, безрассуднее, кровопролитнее.

Адаму было четырнадцать, и ему отрезали ногу. Осталась культя. Такой, ни туда ни сюда, без толку болтающийся кусок бедра.

Он лежал на кровати после операции и выл в подушку. В подушку – потому что чеченским мужчинам не под стать плакать. Он кусал наволочку, и во всей палате был слышен жуткий скрежет его зубов. Было странно думать, что с таким же скрежетом пилилась кость его конечности.

Иса сказал сыну, что пора обедать. Он держал в руках тарелку с совершенно несъедобной стряпней. Детям во время химиотерапии надо есть много, чтобы восстановить показатели крови. Не восстановишь – умрешь. Поешь – сблешь, поэтому, может, все равно умрешь. Но пообедав, хотя бы был шанс. Адам с трудом оторвал лицо от подушки, стараясь незаметно стереть слезы.

– Я не могу встать. Дай, пожалуйста...

– Обедают за столом, – резко отрезал Иса, молча поставил тарелку на стол и вышел.

Адам глубоко вздохнул. Приподнялся. Он держался руками за матрас и косточки на его пальцах белели. Фантомные боли – это боль после удаления какой-либо части тела. Мозг помнит, что она была, нервы помнят, вот и болит. Болит жутко. До ора.

Адам сел. Культя мешала. Она еще кровоточила, и он не понимал, как с ней управляться.

Скрежет его зубов стал невыносим – он шел к столу, опираясь на койки, плотно расставленные по палате. Адам сел. Со лба в тарелку капал пот. Он не мог есть. Но чеченский ребенок не может послушаться.

Адам доел последний кусок, с трудом давя в себе рвотный позыв. Он знал, что только что его шансы выжить увеличились.

Зашел Иса, положил пачку сигарет на тумбочку, и вдруг бросил взгляд на стол. Там, рядом с грязной тарелкой, валялись хлебные крошки. Адам лежал на кровати и корчился.

Все мышцы на лице Исы напряглись, морщины выровнялись. Он жестко посмотрел на Адама и сказал очень тихо и спокойно:

– Ты не убрал за собой.

Адам, собирая последние силы, все еще стараясь задержать еду в желудке, с трудом выдохнул:

– У меня болит нога.

– У тебя ее нет, – сказал отец, – она не может болеть.

Иса не шелохнулся. Он смотрел в глаза сыну и ждал. Ждал, когда чеченский мальчик с только вчера отрезанной ногой встанет с кровати, помоеет за собой тарелку и уберет со стола.

– Ты – фашист, – со злостью шепнула Исе Люда – она была одной из мам в этой палате.

Иса, бросив взгляд на чистый стол и заваливающего свою культю на кровать сына, молча взял сигареты и вышел курить. Снова.

– Единственное, что может заставить человека подняться – это воля, – сказал он моей маме, протягивая ей очередную сигарету, – даже если бы у Адама не было обеих рук, он бы все равно пошел мыть тарелку. Жалеть – это убивать. Это заслонять собой то место, которое предназначено для воли. У Адама впереди целая жизнь. И прожить без ноги он сможет, а вот без воли – нет.

– Иса, ему же больно...

– У него нет ноги. Она не может болеть, – Иса смачно потушил бычок о бетонный пол и пошел просить дополнительную дозу обезболивающего сыну.

* * *

Жалеть – это убивать. Я запомнила это маленькой девочкой и несу в себе всю жизнь. Воля – единственное, что может заставить человека встать. Встать, даже если у него нет ног.

4. Катетер

1998

Я лежу в онкологическом отделении. Мама приехала и теперь со мной. Мой бокс в самом конце коридора. Тут я и Юля. И наши мамы.

Я готовлюсь к важному. Мне должны поставить катетер.

Мама привезла вещи, мои игрушки и еду. Она говорит с Юлиной мамой и не ругает меня за тамагочи. Если моя мама рядом, то, значит, ничего плохого не случится. Катетер. Да. Мне не страшно. Мама сказала, что я буду спать. Почему-то она считает, что это хорошо.

Я очень не любила спать в детском саду. Меня там обманывали. «Тихий час» был не одним часом, а целыми двумя. Лежать с закрытыми глазами так долго мне не нравилось. Во-вторых, я не любила чужое. А там все было чужое и даже игрушки. Я дружила только с одной девочкой – Полиной. Один раз я ее убедила, что надо сбежать. Нам было по четыре года. Полина переживала, потому что не хотела пропустить обед. Она любила есть. Я тогда очень испугалась, что Полина не побежит со мной. Мне очень не хотелось спать в саду, я хотела к маме. Тогда я вспомнила, что бабуля вечером варила борщ. Полина согласилась, что этот борщ будет вкуснее, чем садовый, и мы тихо вышли в раздевалку. Я мечтала, как мы пойдем по бульвару к дому. Но воспитательница заметила, что нас нет, и потащила обратно. Мы даже не успели открыть шкафчики. Я сильно заплакала. В тот день я даже смогла заснуть проспала все два часа. От этого я расстроилась еще больше – спать мне не нравилось.

Если мама говорит, что спать – это хорошо, то значит хорошо. Говорит, что врачи все сделают быстро. Я успокаиваюсь – быстро это не два часа как в «тихом часу».

«Мам, а быстро – это сколько?»...

Иду по коридору. Меня ведет мама. Говорит, что будет не больно. «Процедурная». Я умею читать, я хорошо читаю. В первом классе никто лучше меня не читал. А Генка, вон, вообще не умел. Смешно так пытался, а мы все смеялись – дурачок!

Захожу. Как же светло. Огромная круглая лампа и в ней много светящихся кругов. Зажмуриваюсь. Врачи, их почему-то много, о чем-то говорят. Не понимаю ни одного слова. Ужасно пахнет. Я не хочу здесь быть, мне плохо.

Резко разворачиваюсь от хлопка – закрылась дверь. Мамы нет. Ушла.

– Мама!..

Меня берут за руку. Провожают к столу. Не такому, как дома. Больничному. Длинному и узкому. Меня просят снять майку. Я залезаю на этот стол, ложусь. Ужасный запах, я как будто чувствую его вкус. Спрашивают, как зовут.

– Я – Маша...

Голоса врачей меня пугают, у меня кружится голова. Холодно, здесь очень холодно. Мурашки бегут по рукам.

К лицу подносят что-то странное.

– Ты сейчас подышишь в маску и заснешь. Не переживай, дыши...

Этой маской мне закрывают нос и рот. Она резиновая. Из нее выходит вонь. Она ужасная, я не хочу ее вдыхать. Мама!.. Нет, нельзя ныть, я же взрослая. Сейчас вот поставят катетер... как Юле... и тогда, может, она будет со мной дру... ма... ма...

... Я на даче! Мы с дедушкой здесь ходим в походы. У него есть старый рюкзак, в который мы кладем бутерброды и оранжевую флягу с водой. Эту флягу дедушка хранит много лет, он сам нам рассказывал. Она металлическая с пластиковой крышкой. С ней нужно аккуратно! В поход мы ходим на пруд. С участка мы выходим к воде и идем по узкой тропинке. Идем недалеко, минут пять.

– Дедушка, а давай привал!

– Да мы только вышли, рано еще! – смеется дед и все равно валится на траву с маленькими желтыми цветами. Не знаю, как они называются.

Вообще, в поход я люблю ходить, потому что есть привалы. На привале можно пить из оранжевой дедушкиной фляги. Я на даче...

...Но в этот раз почему-то нет дедушки. Я на даче одна. Обхожу сирень у крыльца – прямо за ней дедуля обычно сидит в шезлонге. Дедули нет. Шезлонга нет. Лестница на чердак. Я лезу. Где дедушка?

Лестница горячая, солнце очень печет. На чердаке у нас всегда очень жарко. Я люблю рассматривать старые вещи, которые дедуля там хранит. Я играю в то, что это настоящие сокровища. Он собирает это все много лет. И все лежит в старых сундуках. Там много паутины, но я ее не боюсь. Мама говорит, что дедушка «старьевщик». Нет, она не обижает его, да и он смеется. Мама любит дедушку. Я тоже люблю дедушку. Он всегда говорит «а вдруг пригодится!» и прячет очередную штуку в свой тайник. Мне нравится лазить с дедулей на чердак. Наверное, он здесь...

Перешагиваю последнюю ступеньку лестницы. Дверца на чердак низкая, нужно пригнуть голову. Дедуля даже прибил такую подушечку из пенопласта. Каждый раз, когда он случайно все же ударяется об нее головой, из нее сыплются маленькие мягкие белые кружочки. Прохожу внутрь. Ничего не видно.

Песня. Поют. Сквозь чердачное окошко свет падает на что-то оранжевое. Мне страшно – поет не дедушка.

И тут я вижу. На сундуке, в котором дедушка хранит старые инструменты, сидит Пугачева и Николаев. Я их знаю, потому что их знает дедушка, а я люблю смотреть с дедушкой телевизор. Я вообще все люблю делать вместе с дедушкой.

Пугачева играет на гитаре. Поет вместе с Николаевым. На нашей даче, на моем чердаке, на дедулином сундуке. Они улыбаются мне, я прохожу вперед. Продвигаюсь среди дедулиных сокровищ к ним ближе, хотя совсем не хочу этого. Но они не злые – добрые, поют. Громко, правда. Где дедушка?.. Пугачева есть, а дедушки...

Что Пугачева делает на моей даче? Не могу спросить, неудобно же... Ругаться еще будут, что хамлю. Я не мешаю им петь. Ну, хотят если – пусть, мне же не жалко. Допоют и спрошу про дедулю. Пугачева крутит головой. Солнце светит на ее рыжие волосы, звук становится все громче и она зовет меня «Маша! Маша!»...

– Маша, вставай! Все хорошо? Не тошнит? Вставай и иди в палату, мама уже твоя изнервничалась! Молодец, иди!

Голова кружится. Шея болит. Что с шеей? Я в больнице. Плечо... Плечо тоже болит. Очень сильно, я не могу!.. Тошнит. Как же воняет эта вонь. Пытаюсь встать с этого стола, и не могу, не получается, рукой двигать больно. Это катетер, мне поставили катетер. Нет, я не хочу быть взрослой! Я маленькая, маленькая! Я не хочу с Юлей, катетер, и эту больницу! Я хочу на дачу к дедушке, хочу на чердак, хочу в поход и воду из оранжевой фляги! Мама, где мама?

– Давай-давай, держи майку свою и иди!

Врач улыбается. Беру майку. Я не могу ее надеть, потому что все болит. Не могу двигать рукой. Мне очень больно. Выхожу в коридор, меня шатает. Не нужно было спать, я же не люблю спать, спать – это плохо. Иду. Никто не помогает, все меня бросили. Мама где? Дедушка где? Грудь голая. Я иду по коридору, зажимаю здоровой рукой соски. Мама говорит, что у меня еще нет груди и мне нечего стесняться. Но на меня все смотрят. Я начинаю рыдать, заливаясь слезами, выть. Коридор не заканчивается. Я иду и иду, и глаза, везде, на меня в упор. Смотрят. Холодно, как же холодно. А на даче, на крыше, тепло, там солнце. И дедушка так пахнет вкусно. Дедушкой. Моим дедушкой.

– Мама! Мама!..

Не слышит. Где же она? Мама! Как же мне больно. Все смотрят как я плачу. Это так стыдно. Стыдно плакать. Все же теперь будут думать, что я маленькая. Нет, я не хочу. Прекратить, надо сейчас же прекратить рыдать! Больно как, как же мне больно... Нет, никогда, больше никогда так...

Где ты, дедушка?..

5. Я

2018

– Маш, шишка огромная, – муж дергал меня уже несколько дней. Присматривался, щупал шею. Нашей дочери вот-вот исполнится два года. Я давно сбросила весь набранный за беременность вес. На шее же, считал муж, ситуация была неизменной. Более того, ему казалось, что припухлость становится только больше.

– На УЗИ сходи! Долго ты будешь ждать?! – муж возмущался. Он считал, что я безответственна. Эгоистична. А мне некогда было таскаться по врачам – с двумя детьми я ничего не успевала. Я ходила в зарыганной дочерью майке, а сын чудил так, что каждый день я все больше понимала – обычная школа нам не светит. Я постоянно плакала, не могла принять в себе домохозяйку, ненавидела свои тонкие волосы и отсутствие маникюра. А еще я терпеть не могла готовить, а готовить приходилось целыми днями. Я плакала и жалела себя. Мне некогда было ходить по врачам. Некогда.

– Маш, ты глупая?! Ты серьезно не понимаешь, что это не нормально?! – Гриша тыкал мне в шею с легкой брезгливостью, жутко раздражая меня своей приставучестью.

Послушай его! Ты больна! Тебе нужен врач!

Я пережила рак в детстве. Я свое «отработала». На всю жизнь вперед отпахала, да так, что у меня и насморка быть не должно.

Послушай мужа!

В итоге Гриша передал. Я решила сходить к врачу хотя бы за тем, чтобы тыкнуть ему в нос бумажкой о том, что он – ипохондрик.

* * *

Кабинет. Красивый. Дорогой. Врач молодая, яркая. Датчик УЗИ. Холодный, жесткий. Взгляд врача. Такой же. Такой же, как датчик.

– Что там такое? Вы так смотрите...

– Я... Да нет... Просто... Вам давно УЗИ этого образования делали?

Сжалась. Даже попыталась пошутить. Получилось неплохо, но врач не отреагировала. Образование. Какое-то образование. Черт. Вот черт, а.

– Сделайте пункцию. И сделайте в Институте Эндокринологии. Там хорошо делают.

Во рту стало как-то мерзко сухо. Попыталась сглотнуть. Не получилось. Решила, что нужно улыбнуться. Это как в детстве, когда больно падаешь, нужно сказать, что все в порядке и терпеть. А то вредины засмеют.

– Но, там же ничего серьезного?

Глупо прозвучало. Но вдруг это искореженное пространство вокруг мне лишь показалось. Врач лишь еще сильнее прильнула к серо-черным теням на экране.

Шишка растет два года.

– А у вас в семейном анамнезе онкологии не было? Никто не болел?

Мой голос пропал. Весь маленький мир этого кабинета будто поставили на паузу. Я повернула голову к окну. Через просветы жалюзи, колышущихся от ветра, который бессовестно врывается в приоткрытую форточку, был виден свет. Лучи прыгали по полу в такт воздушным порывам. Там, на улице, было солнечно и тепло. С детской площадки слышались неразборчивые крики детей. Там была жизнь. Там не было рака. У меня не может быть рака.

– У вас кто-нибудь в семье болел раком? – спросила она настойчивее.

Я перевела взгляд на врача. Посмотрела ей в глаза, даже куда-то глубже. Я попыталась увидеть. Я пыталась добраться туда, где ее зрительный нерв соединяется со знаниями из медицинского вуза, формируя подозрения.

– Я, – говорю откуда-то, выхрипывая память, – болела я.

Асфальт под ногами по дороге домой плавился невыплаканными в кабинете слезами. Мамин голос в телефонной трубке как никогда казался родным. Хотелось убежать во вчера, в два года назад, хотелось убежать туда, где даже 1998 год еще не наступил, и сделать что-то, чтобы не оказаться в сегодня.

Ты больна, Маша.

Никакого заключения еще не было, и мне только предстояла пункция. Однако, я уже точно знала – у меня рак. Снова.

Еще шаг.

Facebook* 3 сентября 2018

Все стадии принятия неизбежного я прошла буквально за сутки. Кроме этой – отрицания. Ее у меня не было в тот день, потому что она вдоволь нажилась со мной за два года, которые я ходила с опухолью, веря в то, что это просто лимфоузел.

Голова моя, вместе со всем остальным организмом, вальяжно развалившись на пляжном песке, подставляла себя солнечным лучам, купалась в отрицании того, что это, может, совсем и не Турция, а жар от извержения громадного вулкана.

Эта стадия у всех проходит по-разному. Быстро или медленно, громко или тихо, со слезами или истерическим смехом.

Эта стадия дает время пожить здоровым. Пожить, думая, что все как всегда – в порядке, и надо бы на маникюр записаться, а еще ковер в химчистку сдать. Погружаясь в рутину привычных дел, отрицая сам факт возможности неизбежного, мы отбиваем себе минуты. Боем выцарапывая их из рук болезни. Как только мы подпускаем принятие чуть ближе вот той дальней точки на горизонте, мы теряем равновесие, начинаем балансировать на тончайшем канате, до которого сужается вся плоскость жизнедеятельности. И нам так страшно отказаться от маникюра, ковра, фитнеса по четвергам, что лучше не видеть, не замечать, отрицать.

Мы надеваем на себя плащ невидимки, думая, что отрицание нас обезопасит.

Мы пытаемся выиграть время, но на самом деле теряем его. Мы сидим в огромном сите, пытаюсь обнять эти, наши, честно заслуженные минуты, ухватить их за их маленькие тельца, и напихать в карман, только чтобы не вывалились они в эти дыры, в себя их засасывающие. Только карманов у нас нет. В этом дырявом пространстве мы голые и холодные.

Минуты уходят, а мы остаемся. Закрываем глаза, сжимаем крепко веки – нет-нет, ничего этого не происходит, завтра на работу к девяти, и машину бы, машину помыть надо.

Мы ходим на работу, и помоем машину, и купим дочке новое платье... Мы будем отрицать все снова и снова и прятаться за быт, за важное, не делая даже шага из этого сита. Голыми и холодными мы будем жить как обычно, хотя где-то глубоко, в межрёберном пространстве будет щемить грудь та самая неизбежность. Мы будем пить валокордин, (ведь, наверное, возрастное), и идти дальше.

Но неизбежность будет давить и вырвется наружу ветвями, прорастет внутри корневищами и заполонит собой все.

А мы окажемся замерзшими и обессиленными настолько, что найти силы на борьбу будет гораздо сложнее.

Неизбежность – не враг. Неизбежность – это ступень на огромной лестнице жизни. Такое заросшее бурьяном и трясинной мерзко квакающее болото.

И если вам все еще нужно идти дальше своей дорогой, (ведь вас ждут, вы всем нужны), то хочешь – не хочешь, но на эту ступеньку придется наступить.

Лестницы у всех разные. И ступени тоже. И если кто-то рядом проносится в вальсе, все выше и мягче перескакивая каждую ступень, покрытую ковром из полевых цветов, а то и бриллиантовой россыпью, а вы хватаетесь за колючие кустарники на своей лестнице, лишь бы не уйти на дно болота – это совсем не значит, что ему повезло больше.

Если тот, кто летит рядом, лишь слегка пятками дотрагиваясь до ромашек, начнет падать, то ухватить его сможет только тот, кто чувствует землю, кто опирается на нее всем своим нутром.

Не отрицайте неизбежное. Принимайте его. Берегите силы и шагайте. Впереди еще так много ступенек и все они такие разные.

И как только вы перешагнете это болото, взберетесь выше, грязные и мокрые, в тине и пиявках, то услышите крик того, кому очень нужна помощь.

И тогда ваша земля, которую вы затоптали илом и запачкали водорослями, станет единственным спасением для тех, кто падает вниз.

Не отрицайте неизбежное. Идите вперед и покажите другим, что такое крепко стоять на ногах. Даже если в ваших ботинках все еще квакают лягушки.

6. Волосы

Мы лежим в палате и мне капают химию. Все дети лысые, а я нет. Я очень не хочу быть лысой. Они все некрасивые. Все.

– Мам, у меня волосы не выпадают! Может они так и не выпадут?

– Выпадут, Маш, подожди.

От моего катетера в шее идет проводок к бутылке – это капельница. Из бутылки капают «химию». Это и значит «химичиться». Тут так все говорят.

– А есть те, у кого не выпадают?

– Очень редко такое бывает, очень.

У меня болит место в шее, где катетер. И тошнит. Я хочу домой и в школу. Я люблю свои волосы. Я не хочу, чтобы они выпадали. Я думаю, что мне повезет – мама говорит, что такое бывает, значит бывает. Все лысые, а я буду нет. Останусь с волосами, и мне все будут завидовать. Я же не такая как все.

* * *

Я просыпаюсь от того, что меня тошнит. Поворачиваю голову, и это почему-то очень тяжело. Вдруг я вижу, что на подушке лежат мои волосы. Трогаю их рукой. Они лежат отдельно от моей головы. Они не на ней. Они на подушке. Я начинаю плакать.

– Мама! – я плачу очень сильно, я хочу кричать. Я злюсь.

Мама подходит и садится рядом. Берет меня за руку. Второй рукой я трогаю свою голову – волосы, много волос, остаются в руке.

– Маш...

– Нет! – я не хочу ее слушать, – Нет, мама! Я не хочу! Они должны остаться! Я не буду лысой!

– Маш, они отрастут...

Я скручиваюсь на кровати и плачу. Мне плохо. Зачем придумали такое лекарство? Зачем оно нужно, если от него лысеют? Я буду некрасивой. Я уже некрасивая. Я крепко сжимаю волосы в кулаке. Я не хочу так жить. Я такая же, как все. Я не хочу жить.

7. С детьми попрощалась?

2018

Накануне моей операции по удалению раковой опухоли щитовидной железы, мы с детьми уехали на дачу. Я вдыхала подмосковный воздух, который с упоением наполнялся осенью – август, такой прощальный с летом, такой прощальный с дачей, в этот раз оказался прощальным с жизнью.

Дыши, просто дыши.

Такой зеленой трава не была никогда. Она ослепляла. Она кутала в цвет все переплетения нервной системы. Мне предстояла, действительно, тяжелая операция – конгломерат лимфоузлов поразил всю правую сторону шеи. Разрез планировался от яремной ямки до уха. Такая полуулыбка Джокера, только ниже. Будущий шрам я представляла страшным, выпуклым, торчащим и навсегда громко кричащим и моим прошлым. Красным, грубым. Шрам виделся мне огромными воротами в личный ад, через которые мне суждено было прыгнуть головой в петлю – туго затянутый шарф, который должен был скрыть меня от посторонних глаз. Меня целиком, потому что вся я становилась заложницей этого шрама.

В моей голове мерцающим экраном черно-белой ленты шел фильм: с операционного стола я, лежа на кушетке, грустными опустошенными руками хирургической бригады, уезжаю в морг. Опухоль была слишком близко к сонной артерии. Надо было бросать курить. Сама виновата.

Я казалась вполне бодрой – поддерживала маму, и весело отвечала друзьям, что все в порядке. В порядке, при этом, не было ничего. Я чувствовала себя замершей. Заполненной льдом. От его веса и холода не получалось двигаться, говорить. Со стороны казалось, что все существует как в замедленной съемке. Меня не было. Был ужас и холод. Была трава, старая дача, смеющиеся дети. На все это смотрела ледяная фигура того, что раньше было мной. Рак съел не только шею. Рак сожрал, смакуя и чавкая, мою суть.

Прими его.

Я поднялась на второй этаж нашего старого дома, на запыленной полке с никому не нужными книгами нашла дневник, который начала вести сыну в день его рождения, и взяла ручку.

Мне хотелось жить, но никто не знал – буду ли. В ту минуту я пыталась уговорить себя, что принимаю смерть. Не прячусь и смотрю ей в глаза. Когда-то мне рассказывали, что один путешественник встретил в лесу волка. Волк намеревался напасть, но мужик, оторопевший от неожиданности, вдруг, сам того не понимая, набрал полные легкие воздуха и заорал во всю глотку. Волк ушел. Увидев силу противника, хищник потерял к нему интерес. Вот и я – смотрела в глаза своему личному волку, наполняла воздухом грудь и собиралась кричать – на весь лес, изгоняя его вон. Только голоса не было. А тишина убивала.

Мне так многое нужно было сказать сыну. Я листала дневник, где кое-где от старости склеились страницы, смотрела на вклеенные фотографии его маленького. Пробегала глазами по строчкам. Так за многое мне хотелось попросить прощения, так многое объяснить.

Слова выливались чернилами сами собой, я не могла остановиться – строчка за строчкой я писала прощальное письмо сыну, который будет расти без матери. Я плакала и заливала слезами страницы.

Все правильно. Так нужно.

Только мужу я написать не смогла ничего. В душе связались морским узлом все воспоминания, ощущения от каждого прикосновения, улыбки, записки, общей чашки. Писать ему было слишком больно.

* * *

Гриша привез меня в больницу рано утром. Уже в отделении выяснилось, что свободного места в палате не будет до обеда.

Мне казалось, что я выиграла джекпот – полдня, которые, я смогу прожить жизнью здорового человека – выйти из больницы, пойти, куда глаза глядят, зайти в магазин... да что угодно!

Я выбежала на улицу, оставив сумку у поста медсестры. Вот она – свобода! Вот то, что на самом деле – счастье. Ноги, с таким упоением наступающие на асфальт, – было ли такое когда-нибудь?

Запомни это! Запомни как это!

Рано утром я никогда не ем. Голодная я дошла до сетевого, обычного кафе, и заказала обед. Ни одно блюдо не было таким вкусным как это – съеденное перед собственной смертью, в дешевой забегаловке.

* * *

Врач листал выписки, рассказывал, как будет проходить операция. Кабинет напоминал мне аквариум – маленький, ровный. Я, в водяной глади, замершая. Он – за стеклом. И вместо голоса нечленораздельные звуки. Я не слышала его. Я молчала. Я зависла, выпуская пузыри воздуха, в аквариуме. Я – рыба. Больничные тапки сводили с ума.

– Ты с детьми попрощалась? – спросил он и так, киношно, взглянул на меня поверх очков.

Идиот. Не слушай его.

Открылся под ногами огромный люк, вся вода в секунду бросилась водопадом вниз, и дышать, дышать больше не получалось.

Я – рыба. Я умираю.

* * *

Накануне операции Гриша подарил мне игрушку – единорога-корова. Единорог целиком выворачивается и превращается в подушку. И это подушка в виде крепости.

Всю ночь перед операцией я не могла заснуть, ворочалась и обнимала единорога.

Этого животного не существует. Оно – такой, знаете ли, результат ошибки в ДНК-коде. Замешались клетки, не так разложились, вот и получился единорог-корова.

Внутри такого необычного, пораженного генетическими мутациями животного, живет настоящая крепость. Крепость делает его стойким, твердым, упругим. Сильным.

А генетическую мутацию единорог-корова принял как данность и использовал как мог – радовал меня одинокими больничными ночами. Соединял с мужем. Давал возможность его обнять, даже когда я на другом конце города.

Рак дважды – это генетическая мутация. Что-то не так у меня заложилось. Неверно спросилось. Нарушилось в самом начале и ударило во второй раз. Но я выдерживала удар. Изю всех сил.

Мы, такие две неправильные, две генетические мутации, лежали, тепло прижимаясь к друг другу и знали – наша крепость в нас самих.

* * *

Я легла на операционный стол голая настолько, что, казалось, вместе с халатом с меня сняли и кожу. Она висела, покрытая мурашками, на металлической вешалке, а я прижималась к простыне открытыми внутренностями.

Анестезиолог, невероятно красивый молодой парень, шутил. Несмотря на одно, единственное желание бежать вон из этого могильника, я отвечала ему в том же стиле. Так хотелось расплакаться, вскочить, умолять его отпустить домой – там, дома у меня так тепло, светло.

Ты взрослая и сильная. Борись.

Дома хаотично развешены детские рисунки на разодранных обоях, там вечный бардак и течет унитаз, но мне надо туда сейчас же, пожалуйста! Так хотелось умолять, рыдать, ползать голыми коленями по ледяному полу, сдирать их в кровь об отбитые края кафеля... Я набрала воздуха, чтобы выплеснуть на врача все то, что накопилось, зажмурила заплаканные за ночь глаза, сильно сжала кулаки, утопилась в собственном отчаянии и...

Успокойся. Надо просто успокоиться.

– Простите, а когда мне можно будет салат «Цезарь»?

Молодец.

Он засмеялся.

– Про что-то, но про «Цезарь» у меня тут еще не спрашивали! – он потянулся за мобильным, – продиктуй свой номер. Я тебе смс-ку отправлю с названием – купишь лекарство, чтобы быстрее с горла воспаление снять. Тогда и будет тебе «Цезарь»!

Почему-то вдруг стало теплее. Так, будто неожиданно включили батарею. Я диктовала ему номер, снова натягивая на себя кожу. Прижимала ее к телу, разглаживала складки. Я возвращалась в себя, а врач записывал цифры. Через окно, в мою операционную, заглядывала аптечный провизор – в обмен на мятые купюры она протягивала мне волшебное лекарство от большого горла. Я улыбалась ей и благодарила.

– В аптеке на первом этаже оно тоже должно продаваться, – увидев входящего хирурга, анестезиолог подскочил и взялся за инструменты, – ну что, начинаем?

Начинаем, миленький, начинаем.

Так просто иногда спасти того, кто умирает. Как просто оставить его здесь, живого, лишь одной фразой, лишь одной смс-кой. Одной удочкой, закинутой в будущее, аптекаршей, приглашенной на огонек. Улыбнуться и не пустить туда, где остаются навсегда.

Слышишь, хирург?! Не дождешься!

Десять, девять, восемь... Еще шаг.

* * *

Смс-сообщение с названием таблеток до сих пор хранится в моем телефоне.

Facebook* 6 сентября 2018

Когда во время пункции врач приставил датчик аппарата УЗИ к моему животу и сказал "твою мать, ты сколько с этим ходила?", я тут же все поняла. Хирург запросил лабораторию произвести анализ срочно, хотя я даже не оплачивала эту услугу. Суeta медперсонала рупором орала, что у меня рак. Хирург промямлил "ну, может быть доброкачественная" так, что лучше бы не говорил этого. Эта фраза только подтвердила мои опасения.

Я вышла из клиники, и поняла, что не могу идти. Ноги были ватными, тело не слушалась. Машина как назло стояла на соседней улице. Я не помню,

как до нее дошла. Меня вела только одна цель – скорее остаться наедине с собой. Я буквально свалилась на сидение, закрыла дверь и стала орать. Я выла так, как не выла никогда. Я рыдала навзрыд, кричала «нет!», повторяя это слово сотню раз.

Потом я отправилась в МФЦ, потому что так было запланировано. Мне нужно было сдать документы на загранпаспорт, получение которого потеряло всякий смысл. Всю дорогу я плакала. Как доехала – не помню. Что было там – тоже не помню. Единственное, что отложилось – написанный мной впопыхах с телефона пост в анонимную группу.

Я ненавидела все. Врачей, которые упустили диагноз, светофоры, которые тормозили мое движение, загранпаспорта за вдруг возникшую бесполезность, я ненавидела себя – за ту, первую стадию, за чертово отрицание, которое забрало у меня время.

Дома мой гнев распространился на все – мужа, детей, друзей.

Гнев – это целая субстанция, такая тягучая, засасывающая. Она поглощает мозг, сознание, вырывается орами, заслоняет собой видимость. Гнев всепожирающ. Он поглощает все на своем пути, сметает все хорошее, как саранча, налетевшая на кукурузу. Гнев сметает все без разбора, выплескивается даже на то, что смотрит на тебя такими добрыми глазами и протягивает одеяло – ты же только из того самого сита, продрог там – на, держи, согрейся!

Наше неизбежное – оно как огромная мерзко скалящаяся статуя посреди узкой тропинки. Мы утыкаемся в нее, не можем идти дальше, и звереем. Орем на нее, толкаем, бьем с ноги, под дых ей, по роже, а она все стоит и хоть бы что – не сдвинется.

А мы заведенные, озверевшие, крутимся на одном месте и выпаливаем из себя гнев, выплевываем его на окружение. А они, бедные, родные наши, и так еле на ногах стоят, держатся за воздух еле-еле, боятся.

Нам не видно, не слышно. Нас распирает агрессия, мы теряем человеческое обличье, сквозь кожу прорываются шипы, суставы наполняются металлической тяжестью, из десен с кровью вырываются клыки. И мы орем. Без разбора, без мыслей, без любви. Орем проклятиями «нет!», и в этом одном слове вся сила нашей ненависти.

Проблема химиотерапии заключается в том, что кроме вредоносных клеток, она убивает и здоровые. Гнев – это блок той самой химии, когда так хочется убить все то, что причиняет боль, а штабелями вокруг замертво ложится все живое.

Мы стоим на следующей ступеньке нашей лестницы и дышим огнем, от которого все вокруг превращается в пепел. Обугленная территория, обнесенная сигнальной лентой желто-черной агрессии. И мы, посреди пепелища. Одни, потому что как же подойти к нам? Как руку протянуть?

Гнев не разбирается, не разделяет на хороших и плохих. Виноваты все. Все приложили руку. Все в чем-то, да не угодили. Гнев причиняет боль. Гнев расщепляет. Гнев не спасает. Гнев доживает, смакуя и пуская слюни, последние силы, что остались после дырявого сита, в котором мы пытались отловить минуты.

Нельзя держать в себе боль. Нельзя гасить в себе черноту. Выплеснуть, вывалить, чтобы полегчало – надо.

Сжечь своим гневом все вокруг – это потерять поддержку. Напугать ее, заставить спрятаться, сбежать в укрытие. Огонь страшен, и никто не хочет гореть.

Соберите в вязанку дрова и ветки всей этой беды, валяющиеся под ногами. Сложите шалашиком и позовите родных. Сядьте в круг, возьмитесь за руки. И вы, кому неизбежное разрывает душу, наберите воздуха в легкие, наполните их до боли кислородом, и дыхните на этот хворост. Пусть костром загорится эта ветошь, и огонь этот отразится в ваших глазах. Пусть весь гнев уйдет в него, этот костер, и дымом растворится ненависть и злость на все то, что сделало неизбежным неизбежное.

Гнев бесполезен. Но если огонь больше невозможно проглатывать, то выпалите, выдохните. Только не убивайте тянущуюся к вам поддержку пожаром. Зажгите костер, у которого и для ваших близких будет место. Позвольте им греться, а не гореть. Плакать вместе, а не искать убежище.

Костер потухнет, и ваши близкие встанут. Вас, слабого и уставшего, поднимут на руки и перенесут через пепелище. Большая дорога требует сил. И у вас есть опора.

8. Второй бокс

1998

Во втором боксе лежит Маша. Мне очень нравятся девочки с таким же именем как у меня. Это так смешно говорить им «Маш!», а они в ответ «что, Маш?». Очень весело, мы всегда смеемся.

Второй бокс – он совсем рядом с нашим, где мы лежим с Юлей. Дверь в него всегда закрыта. Говорят, что Маша «тяжелая». Я не знаю, почему она тяжелая, потому что через дверь кажется, что она худая. А дедушка мне всегда говорит, что я худая и поэтому легкая. Маша «тяжелая», но я не думаю об этом. Я не понимаю, почему не могу к ней зайти. В палате у нее всегда темно. Наверное, Маше не нравится солнце. Они с мамой лежат вдвоем – к ним больше никого не поделяют. Наверное, ей одной скучно.

Юля не хочет со мной дружить, а Маша бы точно дружила, но меня к ней не пускают. Я выхожу в коридор и заглядываю через прозрачную дверь. Но Машиного лица не видно. Ее мама лежит на старой деревянной кровати у стены. Она такая низкая, почти у пола. Таких кроватей в больнице больше нигде нет. Похожую я видела только дома у бабушкиной подруги – тети Зои. Говорили, что у нее вся мебель «советская». Наверное, и эта кровать, на которой машина мама, тоже советская.

Машина кровать металлическая, такая же, как и у меня в палате. Она стоит у окна. Я не вижу Машиного лица, но вижу капельницу. Ей капают красное. Ей капают кровь.

– Мама, почему Маше капают кровь? – мне очень страшно. Все дети лысые и я теперь тоже. Всех химичат, и меня химичат. А если Маше капают кровь... Я не хочу, чтобы мне капали кровь.

Мама не объясняет, говорит что-то непонятное. А мне хочется спросить у Маши – когда капают кровь, это больно? Это так противно. Фу. Маша не выходит из палаты. Я не вижу Машиного лица. Только кровь, которая льется в Машу.

Машина мама иногда выходит из палаты, но быстро возвращается обратно. Она кажется мне какой-то маленькой. Она улыбается мне, когда видит, но почти всегда ничего не говорит. Маша и ее мама всегда только вдвоем. Им очень-очень скучно. Почему я лежу с Юлей, а не с Машей? Маша добрее, чем Юля. Почему-то я точно это знаю.

* * *

Мы с мамой приехали на вторую химию. У нас много пакетов. Мы стоим в коридоре. Снова этот запах – он тут везде. Я знаю, что мне опять будут ставить катетер. Но я не хочу маску. Я буду просить врачей ставить мне его без наркоза. Мама говорит, что не разрешат – я слишком маленькая, а это больно. Но я говорю, что потерплю. И я не маленькая!

– Во второй бокс проходите! – говорит медсестра.

Как это во второй бокс? А Маша? Там же лежит Маша...

– Мам!

Мама не реагирует, она тащит сумки по коридору, открывая дверь во второй бокс. Я забегаю следом. Пустой второй бокс. Здесь очень светло. Гладкие кровати. Металлическая и вторая. Советская.

– Мам, а Маша? – я смотрю на пустые кровати. На мамины глаза. Тоже пустые. – Где Маша, мам?

Мама берет меня за руку.

– Маш... Маша умерла. К сожалению.

Тяжелая. Она была тяжелая. Маша умерла. Гудит в голове. Умерла. Умерла.

– Мам, подожди. Я не буду в этом боксе. Она тут умерла? Я не хочу здесь лежать.

– Маш, других палат нет. Переодевайся, надо идти сдавать кровь, – мама разбирает сумки. Раскладывает вещи. Мне надо снять уличное. Кровати. Их две. Я не хочу на Машиной. Я не хочу ложиться туда, где она умерла.

– Мама, я не буду на этой, – показываю я на металлическую кровать, – тут Маша лежала.

Мама совсем белая. Моя бабушка говорит «как моль». Я никогда не видела моль, но, наверное, она как мама сейчас.

– Хорошо, ложись на эту, – мама освобождает деревянную от пакетов, – только она старая, на ней неудобно будет.

– Нормально мне! Я тут буду. На Машиной не буду. А к нам поделят же? Ты на полу со мной рядом будешь?

– Сказали, что сегодня не поделят. Я на второй кровати посплю.

На второй. Значит на Машиной. Мама! Нет, мама!

* * *

Ночь. Мама крепко целует меня и забирается под свое одеяло.

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, мамочка.

В боксе темно. Я у стены на старой деревянной кровати. В окне видны огоньки – это с улицы. У окна стоит металлическая кровать. На этой кровати лежала Маша, которая умерла. Сейчас на этой кровати моя мама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.